

ПОЧЕМУ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НЕ ЭМИГРИРОВАЛ?

© 2016

В.К. Кантор

Что есть эмиграция? Начинается она с несогласия с режимом. Если это не изгнание, то уехавший, как правило, может выбрать два пути: либо ассимилироваться, стать частью принявшей его страны, либо вступить в конфронтацию со своей страной, с ее правительством, желая низвержения последнего. Но возможны (и это без эмиграции) внутреннее противостояние режиму, попытка его реформации, забота об остающихся соотечественниках, которые хотят слова нелживого. Правильно ли сказать, что эмиграция — это прежде всего, пользуясь словами Августина, “возлюбить себя больше Бога”, спасение своей жизни, боязнь ответить за свою позицию, за свое слово своей жизнью, как делали первохристиане, как в России — протопоп Аввакум, А.Н. Радищев, Ф.М. Достоевский и Н.Г. Чернышевский?

Вторым русским эмигрантом после А. Курбского, бежавшего от Грозного царя, принято считать А.И. Герцена. Проблема эмиграции стояла и перед А.С. Пушкиным, писавшим П.А. Вяземскому после восстания декабристов из Пскова (1827): “Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне *слободу*, то я месяца не останусь. <...> Где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница” [9].

Однако продолжая жить в России, с каждым годом постигая ее все глубже и полнее, Пушкин понемногу начинал себя чувствовать творцом ее смыслов. “Блажен, кто смолоду был молод”, — усмехался поэт (консервативный в зрелости, Пушкин в молодости писал в Сибирь декабристам: “...и братья меч вам отдадут”). А потом: “Избави Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный”. В зрелые годы писавший Историю Петра и Пугачевский бунт, а также о том, что “Петр Вели-



**ЛИЧНОСТЬ
И ВЛАСТЬ**



**Кантор
Владимир
Карлович —**

доктор философских наук, ординарный профессор Школы философии Научного исследовательского университета — Высшая школа экономики (НИУ-ВШЭ), член редколлегии журнала “Вопросы философии”. В журнале “Человек” опубликовал статьи «Феномен “русского европейца”» (1999. № 4), “Герцен как прототип Ставрогина” (2014. № 3), а также рецензию на книгу Ю.А. Шрейдера “Этика. Введение в предмет” (1998. № 5). E-mail: vlkantor@mail.ru

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФГФ; грант № 15-03-00581(a).

105



кий один есть всемирная история”, он утверждал, что ни за что бы не променял свое отечество на другое. Такова была пушкинская позиция, позиция русского европейца, видевшего, что Россия не хуже других стран. Запад не желал помнить (публицисты, газетчики, поэты, А. Мицкевич, например) чумные бунты и вакханалии в Западной Европе (а Пушкин помнил — “Пир во время чумы”), столетнюю и тридцатилетнюю войны, унижения вилланов (“Сцены из рыцарских времен”), слякоть и доводящую до самоубийства нищету английских бедняков, ужасы французской революции (и это Пушкин помнил: “Убийцу с палачами/ Избрали мы в цари” — “Андрей Шенье”: о гуманных французах, устроивших массовые убийства именем народа). Кто думал о людях? Пушкин — реалист, человек ясного и трезвого взгляда. Поэт не идеализировал запад Европы, поэтому понимал, что *российская дикость — не непреодолимая помеха европеизации. Россия — это Европа, подверженная и ныне еще ударам стихийных сил, как раньше был им подвержен Запад, — вот его формула русской истории.*

В отличие от Пушкина, Герцен полагал: “Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно и ограничено” [3, т. 7, с. 242]. А потому нечего жалеть и щадить современное государственное устройство. Достоевский иронически замечал о Герцене, что он практически родился эмигрантом. Перед отъездом в Европу, еще вроде бы не в эмиграцию, хотя все понимали, что барин останется на Западе, Герцен навестил П.Я. Чаадаева. Тот предлагал Герцену брать пример с Курбского, с такой же энергией обличать русскую власть, при этом советовал прибегнуть к одному из европейских языков, чтобы о тяжести русской жизни узнал Запад и мог влиять на русский царизм и поддерживать тех, кто осмелится на протест. Получилось, однако, совсем не то, что советовал Чаадаев.

Герцен писал о гнусности царизма и великом русском народе, реальную ситуацию жизни которого с каждым годом заслоняло мифическое представление о русском крестьянине. То же относилось и к студенческой молодежи, которую он призывал в борьбе не щадить своей крови. Постепенно эмигрант Герцен каким-то образом стал именоваться (и доселе именуется) “лондонским изгнанником”, хотя барин и миллионер уехал добровольно, вывезя все свои миллионы. Необходимо акцентировать основную жизненную установку Герцена, которую он не раз провозглашал. Речь идет об “аннибаловой” клятве на Воробьевых горах в 1828 году двух подростков — росшего без матери Николеньки Огарева и бастарда Шушки Герцена. Товарищи поклялись посвятить свою жизнь разрушению империи, как когда-то Ганнибал мечтал разрушить Рим. О последствиях разрушения империи — хаосе, принесенном горе сотням тысяч людей, лишенных крова и ушедших в изгнание, и пр. — они даже “в соображение” не брали. Нечто подобное и вправду случилось после распада Российской империи: несколько мил-



В. Кантор
Почему
Чернышевский
не эмигрировал?

Первый
фотопортрет
Н.Г. Чернышевского.
1853

лионов бежали, спасаясь от гибели, в чужие страны, страшное изгнание, не эмиграция богатого барина, а голодное, нищее скитальчество и десятки миллионов испытавших ужасы гражданской войны. Радикалы-разрушители, как правило, о последствиях не думают.

Напомню фразу Чернышевского о Герцене, что позволит перейти к его пониманию неприемлемости эмиграции: “Когда по какому-то поводу я заговорил о Герцене, то Николай Гаврилович с некоторым раздражением заметил:

— С этим человеком в последнее время я совершенно разошелся во взглядах. Посудите сами, сидит себе барином в Лондоне и составляет заговоры, в которые увлекает нашу моло-



дежь. <...> Я советовал ему не трогать нашу молодежь и даже печатно высказался против него” [10, с. 391]. Но Герцен был уверен, что отрицание прошлого (именно отрицание, а не преодоление) есть путь России: “Мы слишком задавлены, слишком несчастны, чтоб удовлетвориться половинчатыми решениями. Вы многое щадите, вас останавливает раздумье совести, благочестие к былому; нам нечего щадить, нас ничего не останавливает” [3, т. 5, с. 222].

В отличие от Чаадаева, славянофилов, Герцена, утверждавших, что прошлое наше пусто, Чернышевский полагал иное: “Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам также трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться” [16, т. 7, с. 616]. Верил ли Чернышевский в революцию, моментально переиначивающую жизнь, избавляющую нас от азиатства, насилия и произвола? Вот его ответ: “Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что *Бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, приличные цивилизованным людям*” (курсив мой. — В.К.) [там же, с. 616–617].

К теме революции еще вернемся, пока же замечу, что в своей философии истории Чернышевский был на редкость оригинален, не повторяя “последних слов” Запада, ибо исходил из конкретных особенностей отечественной истории. Мало кто из современников заметил его оригинальность, но стоит привести слова о Чернышевском наблюдательнейшего консерватора А.С. Суворина: “Он не уступит лучшим характерам прошлого времени”, к тому же сделал то, о чем только мечтали славянофилы — посмел “выйти из пеленок западной мысли и... говорить от себя... *свои слова*, а не чужие” [5].

Чернышевский хотел строить Россию, о чем писал и в юношеском дневнике, и в письмах. Вот наугад два пассажа. Письмо 18-летнего юноши двоюродному брату, будущему академику А.Н. Пыпину от 30 августа 1846 года. Спасителями Европы стали русские, преградив путь монголам и разгромив наполеоновские полчища, писал он, “спасителями, примирителями должны мы явиться и в мире науки и веры. Нет, поклянемся, или к чему клятва? Разве Богу нужны слова, а не воля? Решимся твердо, всею силою души содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей, чтобы она перестала быть чужим кафтаном, печальным безличьем обезьянства для нас. Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира, как внесла и вносит в жизнь политическую, выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества и на другом великом поприще жизни — науке, как сделала она это уже в одном — жиз-

ни государственной и политической. И да свершится чрез нас хоть частью это великое событие! И тогда недаром проживем мы на свете; можем спокойно взглянуть на земную жизнь свою и спокойно перейти в жизнь за гробом. Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожделеннее этого? Попросим у Бога, чтобы он судил нам этот жребий” [16, т. 14, с. 48].

А вот из дневника 1849 года (автору 21 год): “Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, — не знаю, ведь это странно, — мне кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой. Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельны, которых произведения мне кажутся, может быть, самыми высшими, что произвели последние годы в европейской литературе... доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее Франция, Германия, Англия, Италия” (там же, т. 1, с. 127). Это прямо противоположно позиции Герцена, который в качестве позитива искал в России радикально-разрушительные идеи (его знаменитый текст “О развитии революционных идей в России”).

“Реформист-постепеновец” — так именует Чернышевского В.Ф. Антонов [1]. И это очень важное заключение. У него не было расчета на революцию. Сошлюсь еще раз на воспоминания молодого юриста: “Этот приговор [о казни и каторге] поразил меня точно так же, как поразило и первоначальное известие в 1862 году об его аресте; мне казалось странным, совершенно невероятным активное участие Чернышевского в каких бы то ни было политических делах, и я себе представить не мог возможности, чтобы он принимал какие-либо меры к ниспровержению существующего порядка управления в России, он, который был вечно погружен в серьезные литературные занятия, осуждавший молодежь за резкость, а Герцена за возбуждение молодежи” [10, с. 384].

Несколько забегаю вперед, замечу, что *реформатор не может быть эмигрантом, это позиция радикала.*

А возможности эмиграции у Чернышевского были. Уже из Петропавловки он писал генерал-губернатору Санкт-Петербурга князю А.А. Суворову, поясняя свою позицию: “Должен ли я доказать, что не только говорю я это, но что это и действительно так, что их не может существовать? Доказательство тому: я оставался в Петербурге последний год. С лета прошлого года носились слухи, что я ныне — завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день. Если бы я мог чего-нибудь опасаться, разве мне трудно было уехать за границу, с чужим паспортом или без паспорта? Всем известно, что это дело легкое, не только у нас, но и везде. Да мне не было на-



добности прибегать к такому средству: г. министр народного просвещения предлагал мне казенное поручение за границу, говоря, что устранить запрещение о выдаче мне паспорта он берет уже на себя. Почему же я не уехал? И почему, при всей мнительности моего характера, я не тревожился слухами о моем аресте? А что я не тревожился ими, известно всему литературному кругу, и доказывается состоянием, в каком были найдены мои бумаги при моем аресте: опытный следователь, разбирая их, может убедиться, что они не были пересматриваемы мною, по крайней мере, полтора года” [16, т. 14, с. 462]. Интересно, что Чернышевский деликатно умалчивал в этом письме о предложении князя Суворова, сделанном ему за пару месяцев до ареста.

Но по порядку. Данный сюжет заслуживает внимания.

Начиная с 15 ноября 1861 года за Чернышевским было установлено регулярное агентурное наблюдение, почти каждый день его жизни отныне сопровождался донесениями агентов. И уже в первом было отмечено, что за “Чернышевским учрежден самый бдительный надзор, для облегчения которого признано необходимым подкупить тамошнего швейцара, отставного унтер-офицера Волынского полка, который уже шесть лет занимает эту должность”, поскольку “Чернышевский бывает почти постоянно дома и спит не более 2–3 часов в сутки” [15, с. 72]. То есть что-то пишет, возможно, статьи, а может, и что-то еще делает. И вот в донесении от 5 мая 1862 года находим относящееся к данному сюжету агентурное донесение: “23 апреля у Чернышевского был какой-то фельдъегерь г. военного генерал-губернатора; он узнал прежде у швейцара, дома ли г. Чернышевский, и тогда уже пошел к нему, когда получил утвердительный ответ. После нескольких минут фельдъегерь вышел в сопровождении Чернышевского, который очень благодарил его за что-то” [там же, с. 102–103].

Разъяснение этого визита, и весьма любопытное, можно найти в довольно подробных воспоминаниях С.Г. Стахевича, политического ссыльнокаторжного, который в 1868–1870 годах был вместе с Н.Г. Чернышевским в Александровском заводе, где вел обстоятельные разговоры со знаменитым каторжником, получившим от заключенных уважительное прозвище Стержень Добродетели. Стахевич вспомнил и эпизод с фельдъегерем от петербургского генерал-губернатора, перепутав, правда, титул, называя князя графом. Но похоже, что в остальном он передал беседу довольно точно: «За недолго перед арестом Николая Гавриловича к нему заявился адъютант петербургского генерал-губернатора графа Суворова; граф был личным другом императора Александра II. Адъютант посоветовал Николаю Гавриловичу от имени своего начальника уехать за границу; если не уедет, в скором времени будет арестован. “Да как же я уеду?хлопот сколько!.. заграничный паспорт... Пожалуй, полиция воспрепятствует выдаче паспорта”. — “Уж на

этот счет будьте спокойны: мы вам и паспорт привезем, и до самой границы вас проводим, чтобы препятствий вам никаких ни от кого не было”. — “Да почему граф так заботится обо мне? Ну, арестуют меня; ему-то что до этого?” — “Если вас арестуют, то уж, значит, сошлют, в сущности, без всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой. Вот графу и желательно, чтобы на государя, его личного друга, не легло бы это пятно — сослать писателя безвинно”. Разговор кончился отказом Николая Гавриловича последовать совету Суворова: не поеду за границу, будь что будет» [13, с. 175]. Это был, конечно, выбор своей судьбы, хотя маленькая надежда оставалась — ничего противозаконного Чернышевский не писал и не делал.

“Философский пароход”, как неожиданно выясняется, — абсолютно в российской традиции. Это один из архетипов отношения российского правительства к инакомыслию. Или уничтожение, или тюрьма и каторга, лагеря... Как видим, уже при Александре Освободителе была испробована попытка (неудачная) с изгнанием, высылкой инакомыслящего за границу, когда деятельность неугодного не подпадала под российские законы о наказаниях. Речь в данном случае идет о Чернышевском. Он отказался как от предложения князя Суворова, так и от предложения Герцена издавать “Современник” в Лондоне (когда журнал был приостановлен), понимая, что тем самым само собой окажется в эмиграции.

Интересно, что предложение от Герцена пришло после его резкой размолвки с Чернышевским, которому показалось, что тот оскорбил Н.А. Добролюбова. Чернышевский отправился в Лондон требовать от Герцена извинения перед Добролюбовым. Так первый и единственный раз он оказался на Западе. Уже перед смертью в письме к издателю К.Т. Солдатенкову Чернышевский рассказывал: “Я мягок, деликатен, уступчив — пока мне нравится забавляться этим. <...> Я ломаю каждого, кому вздумаю помять ребра; я медведь. Я ломал людей, ломавших все и всех, до чего и до кого дотронутся; я ломал Герцена (я ездил к нему дать ему выговор за нападение на Добролюбова: и — он вертелся передо мной, как школьник)” [16, т. 15, с. 790]. Стоит напомнить, что в 1859 году в “Колоколе” была опубликована статья Герцена “Very dangerous!!!”, направленная против Добролюбова и отчасти Чернышевского. Оба обвинялись в недостатке радикализма, ибо Н.П. Огарев прямо заявлял, что “чистое искусство” вышло из диссертации Чернышевского и предрекал “Современнику”, что, пособничая правительству, “милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до *Станислава на шею!*” [3, т. 14, с. 121]. После визита Чернышевского в Лондон Герцен был вынужден переменить тон.

В лондонской встрече реально столкнулись две жизненные позиции — эмигранта, мечтавшего сломать режим страны, от-



Гражданская казнь
Н.Г. Чернышевского
на Мытнинской
площади в Москве
19 мая 1864 года.
Рисунок
неизвестного
свидетеля



куда он убежал, без продумывания возможного хаоса и сопутствующих хаосу рекам крови, и реформатора, предлагавшего программу внутреннего *переустройства государства*, а не его разрушения. Чернышевский вспоминал: «Я нападал на Герцена за чисто обличительный характер “Колокола”. Если бы, говорю ему, наше правительство было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в уезде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем — конституционную, или республиканскую, или социалистическую; и затем всякое обличение являлось бы подтверждением основных требований вашей программы; вы неустанно повторяли бы свое» [13, с. 169].

Реформатор не призывает к ниспровержению существующего строя. Он намерен этот строй реформировать — разница с эмигрантом-радикалом принципиальная. Действительно, радикализма не было. Было отстаивание выработанных цивилизованным человечеством ценностей, которые надлежало защищать, — честь, независимость, право на свободный труд, творческую свободу, человеческое достоинство. Недаром ни одного доказательства вины Чернышевского не было найдено. А славу революционера-страдальца подарило Чернышевскому самодержавие. В такой славе он не нуждался. Но та была тем сильнее, чем незаконнее выглядело решение суда.

Сознание государственного произвола по отношению к независимому мыслителю было всеобщим, особенно явно у *русских европейцев*. По воспоминаниям очевидцев, “А.К. Толстой,

близко осведомленный о деталях процесса несчастного Чернышевского, решился замолвить государю слово за осужденного, которого он отчасти знал лично”. На вопрос Александра II, что делается в литературе, граф А.К. Толстой ответил, что “русская литература надела траур — по поводу несправедливого осуждения Чернышевского” [14]¹. Был возмущен этим актом С.М. Соловьев. А спустя 30 лет его сын, В.С. Соловьев все с той же страстью негодования на несправедливость напишет: “В деле Чернышевского не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильственное деяние, с заранее составленным намерением. Было решено изъять человека из среды живых, — и решение исполнено. Искали поводов, поводов не нашли, обошлись и без поводов” [12].

Зарифмовывая связь позиции Пушкина с позицией Чернышевского, добавлю, что последнего арестовывал полковник Ф.С. Ракеев, жандармский офицер, тайно отвозивший гроб с телом Пушкина в Святые Горы (тогда ротмистр). Очевидно, Ракеев считался специалистом по литераторам.

Всем казался невероятным арест такого популярного и влиятельного в общественном мнении человека. Почему? Да именно поэтому: если уж влиятельного и безвинного Чернышевского арестовали, то пусть другие боятся и трепещут. Критик “Современника” М.А. Антонович вспоминал: “Мы думали, что Николай Гаврилович слишком крупная величина, чтобы обращаться с ним бесцеремонно; общественное мнение знает и ценит его, так что правительство едва ли рискнет сделать резкий вызов общественному мнению, арестовав Николая Гавриловича без серьезных причин. <...> Вот как мы были тогда наивны и какие преувеличенные понятия имели о силе общественного мнения и о влиянии его на правительство. Да и не одни мы” [2].

Но такого масштаба человек, как Чернышевский, делает свой выбор не один раз. Всей своей жизнью он этот выбор подтверждает. Надо сказать, что, видимо, тема Чернышевского волновала императора. В 1874 году он послал к узнику в Виллюйск офицера с предложением просить помилования. Судьбу Чернышевского решали на самом верху, думали его облагодетельствовать. Тогда же в Виллюйск была направлена «из Петербурга бумага, приблизительно такого содержания: “Если государственный преступник Чернышевский подаст прошение о помиловании, то он может надеяться на освобождение его из Виллюйска, а со временем и на возвращение на родину”». Ко всему прочему полковник Г.В. Винников, адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири также был послан в Виллюйск с целью побудить Чернышевского подать царю просьбу о помиловании. Об этом рассказывает сам Винников: «Я приступил прямо к делу: “Николай Гаврилович! Я послан в Виллюйск со специальным поручением от генерал-губернатора именно к вам. Вот, не угодно ли прочесть и дать мне положительный ответ в ту или другую сторону”. И я подал ему бумагу.

В. Кантор
Почему
Чернышевский
не эмигрировал?

¹ Интересно продолжение беседы: «Но государь не дал Толстому даже и окончить его фразы: “Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о Чернышевском”, — проговорил он недовольным и неприятно строгим голосом, — и затем, отвернувшись в сторону, дал понять, что беседа их кончена» [там же]. Очевидно, императору очень досадила строптивая независимость петропавловского узника, не просившего о помиловании.



Он молча взял, внимательно прочел и, подержав бумагу в руке, может быть, с минуту, возвратил ее мне обратно и, вставая на ноги, сказал: “Благодарю. Но видите ли, в чем же я должен просить помилования? Это вопрос... Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, — а об этом разве можно просить помилования? Благодарю вас за труды. От подачи прошения я положительно отказываюсь”. По правде сказать, я растерялся и, пожалуй, минуты три стоял настоящим болваном... “Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?” — “Положительно отказываюсь!” — и он смотрел на меня просто и спокойно» [4].

Было несколько безуспешных попыток устроить Чернышевскому побег с каторги. Кстати, сам знаменитый каторжанин, человек письменного стола, иронически усмехался, когда до него доходили слухи о возможности побега, о том, что готовы лошади: “Интересно, представляют ли они, что я ни разу не сидел в седле?” Но вот реакция общества, поначалу совсем не радикальной части общества, показала глубочайшую ошибку (если не сказать — преступление) царя, называемого Освободителем. В архивах сохранился поразительный документ, опубликованный внуком Чернышевского:

«Молодая, 16-ти летняя, гимназистка, Коведяева, потрясенная жестоким приговором и увлеченная порывом юного чувства, обратилась с собственноручным письмом к Александру II о помиловании Чернышевского и предложила взамен свою жизнь. Вот ее простое, трогательное письмо:

“Всепресветлейший, державнейший Государь Император, Александр Николаевич.

Простите мою дерзость, что я осмеливаюсь писать к Вам и просить Вас. Вся моя просьба заключается в следующем: окажите правосудие Николаю Львовичу Чернышевскому, содержащему в крепости и обвиняемому в участии в восстании — прикажите освободить его. Он, поручаюсь Вам в том своею головой, совершенно невинен: подобный ему высоконравственный человек не откажется от своих действий. Да и главное в том, что в его виновности нет ни одного прямого доказательства, а он, между тем, все-таки приговорен к каторге на семь лет. Если уже необходимо кого-нибудь сослать, сошлите лучше меня, а оставьте человека, который своим умом может принести огромную пользу обществу. Государь! будьте отцом Ваших подданных — осчастливьте одну из них и потом, если нужно, отнимите у ней жизнь. Но так как я не дорожу жизнью и лишение ее не будет для меня особенным наказанием, то предлагаю Вам посадить меня в такую конурку, где бы я едва могла пошевелиться, морите меня голодом, лишите меня, наконец, моего единственного утешения — книг, делайте со мною все, что хотите, только спасите Чернышевского! Вы уже сделали так много добра своему народу, окажите же Ваше милосердие де-

вухе, которой не знакомо ни счастье, ни веселие. Чтобы не утомить Вас лишними словами, спешу окончить свою просьбу и, возлагая надежду на Вашу доброту, остаюсь верноподданная Ваша

Любовь Коведяева, гимназистка 2-го класса С. П. Бургской Васильевской женской гимназии.

P.S. Простите, Ваше Величество, что я, по незнанию предписанных форм, выражаю свою просьбу в форме частного письма”.

Письмо это 26 февраля 1864 г. было доложено Александру II, который положил на нем собственноручную резолюцию:

“Просьба эта не заслуживает внимания, но желаю знать, в каких она была отношениях с Чернышевским”.

Во исполнение царского желания III отделением была составлена нижеследующая справка, доложенная царю 29 апреля:

“Девица Любовь Коведяева живет вместе с отцом и двумя братьями по 10 линии Васильевского Острова в доме № 39. Отец ее, Егор Николаевич Коведяев, — надворный советник, служит в С. Петербургской таможне, человек лет 50, вдов и не имеет состояния. Дочери Любви 17-й год; она недурна собою, брюнетка, высокого роста; дома она очень много читает. Братья ее — гимназисты вновь открытой на Васильевском Острове 7-й гимназии: старшему 16, а младшему 14 лет. — У Коведяева большое знакомство; между лицами его посещающими замечено много молодежи. — Девица Коведяева не имела личных отношений к Чернышевскому, она даже не знает его имени, называя в письме Николаем *Львовичем*, тогда как Чернышевский Николай *Гаврилович*. Девице Коведяевой ныне всего 17-й год, а Чернышевский уже почти 2 года содержится в крепости, то ей в то время, когда он был на свободе, было только 15-й год. Вероятно, она начиталась его сочинений, и в особенности его романа “Что делать”, и проникнутая убеждением окружающей ее среды решилась на свой необдуманный поступок”.

Тем дело и кончилось.

В 1917 году мне удалось розыскать племянника Любви Николаевны, инженера Б.Е. Коведяева. Он сообщил мне некоторые подробности ее жизни и показал фотографическую карточку. Умное, энергичное и благородное лицо. Она вышла замуж за В.В. Воронцова, писавшего в “Вестнике Европы” статьи по экономическим вопросам, и умерла в 1910 или 1911 г. 63 лет. С глубоким чувством уважения к гражданской доблести молодой девушки я смотрел на ее карточку и горько жалел, что не мог уже пожать и поцеловать ту благородную руку, которая в простоте души, кровью сердца, писала такое прочувствованное письмо и умоляла о спасении Чернышевского именно того человека, который был его убийцею» [6].

Пусть не звучит это мистически, но император жизнью заплатил за свой страх перед реформатором, за осуждение безвинного человека, за свой выбор. Мирный кружок ишутинцев

В. Кантор
Почему
Чернышевский
не эмигрировал?



в 1863—1865 годах пытался устраивать трудовые артели — похожие на описанные в романе “Что делать?” — людей верующих (любопытно, что сам Н.А. Ишутин считал, что “трое великих” оказали на мир благотворное воздействие: Христос, апостол Павел и Чернышевский). Чернышевский предлагал нечто наподобие конституционной монархии (не случайно как пример он видел Великобританию): собрание выборных от всех классов. Заметим, то самое решение, которое император собирался подписать накануне своего убийства. Собирался, но слишком поздно. Трудовые артели и кассы взаимопомощи ишутинцев полиция прикрыла. Тогда, 4 апреля 1866 года и произошло первое покушение на императора, совершенное двоюродным братом Ишутина — Д.В. Каракозовым. На императора началась охота, имевшая трагический успех 1 марта 1881 года.

Якутский прокурор Д.И. Меликов рассказал о реакции Чернышевского на сообщение об убийстве царя: “Что в России? Убили Александра II? Дураки, дураки, как будто не найдется замены. Хороший был государь. Дело не в том!..” [7]. Чернышевский отреагировал, как и следовало ожидать от подлинного реформатора-христианина. Генерал Академии Генерального штаба и поклонник Чернышевского с яростным возмущением писал: «Этот блестящий прозорливый публицист, популяризатор величайших открытий новейшей науки, этот критик и беллетрист — вносителем субверсивных² идей, сеятелем смуты в умах! Этот, наконец, серьезный кабинетный работник, едва находивший время для отдыха от своих трудов, этот образцовый семьянин и добряк, в жизнь свою не посягавший на жизнь червяка, — союзником каких-то проходимцев-революционеров, подбивателем молодежи на политические преступления... И это все Чернышевский-то, так любивший и науку, и искусство, и Россию, и человечество, и молодежь и так всегда готовый, несмотря на свою работу, которую единственно обеспечивалось существование его и его семьи, по целым часам толковать о ней, терпеливо объясняя: что читать? как читать? как надо работать и учиться?!! <...> Бог, в неизреченном милосердии всепрощающий, конечно, простит и инкриминаторов, погубивших Чернышевского. Вероятно, еще при жизни своей он простил их и сам, сказав, по своему обыкновению: “Ну, что же тут делать-с? все это в порядке вещей...”. Но потомство, но история, — хочется крепко верить, — не простит этим людям никогда!..» [8]. И конечно, в виду тут имелся не только негодяй В. Костомаров, оклеветавший Чернышевского, чтобы спасти себя от солдатчины.

Не случайно в советское время шутили, что некоторых русских царей необходимо посмертно наградить орденом Октябрьской Революции за создание революционной ситуации в стране. Это надо уметь — выкинуть из жизни человека, который мог благотворно воздействовать на развитие страны,

² Пагубных (франц. subversivement).

выкинуть из страха перед его самостоятельностью и независимостью!

Чтобы оценить *государственный* масштаб личности Чернышевского, обратимся к В.В. Розанову, человеку неожиданных, но, как правило, точных характеристик. Розановская неприязнь к Герцену сказалась и в этих словах, зато разночинца мыслитель поднял на пьедестал: «Конечно, *не использовать* такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. <...> С самого Петра (I-го) мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы *дышал*, каждая минута *жила* и каждый шаг обвеян “заботой об отечестве”. <...> Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающий *где* найти “энергий” и “работников”, государственный механизм не воспользовался этой “паровой машиной” или, вернее, “электрическим двигателем” — непостижимо. Что такое все Аксаковы, Ю. Самарин и Хомяков, или “знаменитый” Мордвинов против него как *деятеля*, т.е. как *возможного деятеля*, который зарыл был где-то в снегах Вилюйска? <...> Такие *лица* рождаются веками; и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это... черт знает что такое. Уже читая его *слог* (я читал о Лессинге, т.е. начало), прямо чувствуешь: никогда не устанет, никогда не утомится, мыслей — чуть-чуть, пожеланий — пук молний. Именно “перуны” в душе. Теперь (переписка с женой и отношения к Добролюбову) все это объяснилось: он был духовный, спиритуалистический “S”, ну — а такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят, до убоя, до смерти или победы. Не знаю его опытность, да это *и не важно*. В сущности, он был как *государственный деятель* (общественно-государственный) выше и Сперанского, и кого-либо из “екатерининских орлов”, и браурного Пестеля, и нелепого Бакунина, и тщеславного Герцена. Он был действительно solo. <...> Это — Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше “романиста”, или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь “драться на рапирах” и “запретили куда-нибудь принимать на службу”. Черт знает что: рок, судьба, и не столько *его*, сколько *России*. <...> Поразительно: ведь это — прямой путь до Цусимы. Еще поразительнее, что с выходом его в *практику* — мы *не имели бы и теоретического нигилизма*. В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но — взяли да и срубили его. Срубили, “чтобы ободрать на лапти” Обломову...» [11].

* * *

Было два выбора. Выбор Чернышевского, отстаивавшего свое человеческое достоинство. И выбор самодержавия, не желавшего реформирования, а потому шедшего к гибели, *amor fati*, по словам Ф. Ницше.

В. Кантор
Почему
Чернышевский
не эмигрировал?



Литература

1. Антонов В.Ф. Н.Г. Чернышевский: Общественный идеал анархиста. М.: Едиториал УРСС, 2010. С. 174.
2. Антонович М.А. Арест Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Худ. лит., 1982. С. 276–277.
3. Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. М.: АН СССР, 1954–1965. (Ссылки на том в тексте статьи.)
4. Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский: Научная биография. Ч. 4. 1804–1889. Саратов: Изд-во Сарат. пед. ин-та, 1994. С. 175.
5. Достоевский Ф.М. Новые материалы и исследования // Лит. наследство. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 380.
6. Коведяева Любовь. Письмо императору / публикация Мих. Чернышевского // Культура. 1922. № 2–3.
7. Меликов Д.И. Три дня с Н.Г. Чернышевским: (Воспоминания) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. С. 365.
8. Новицкий Н.Д. Из далекого минувшего // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. С. 171–172.
9. Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 9. М.: ГИХЛ, 1962. С. 233.
10. Рейнгардт Н.В. Н.Г. Чернышевский: (По воспоминаниям и рассказам разных лиц) // Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников.
11. Розанов В.В. Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 207–208.
12. Соловьев В.С. Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 649.
13. Стахевич С.Г. Среди политических преступников // Н.Г. Чернышевский: pro et contra: Антология. СПб.: РХГА, 2008.
14. Толстой А.К. О литературе и искусстве. М.: Современник, 1986. С. 117.
15. Чернышевский в донесениях агентов III отделения // Дело Чернышевского: Сб. документов. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1968.
16. Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.: ГИХЛ, 1939–1953. (Ссылки на том в тексте статьи.)

НОВЫЕ КНИГИ

Актуальные проблемы психологии: Указатель 1362 докторских диссертаций, 1935–2014 гг. // А.Я. Анцупов, С.Л. Кандыбович, В.М. Крук и др. М.: Лига содействия оборонным предприятиям, 2015. 416 с.

Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей учения: Нейропсихологический подход: Учеб. пособие для студ. вузов. М.: Академия, 2015. 288 с.

Вальдшмидт Д. Будь лучшей версией себя: Как обычные люди становятся выдающимися / Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2015. 208 с.

Барри Э. Избавление от стыда: Практика. Как работа с тенью помогла мне найти мой голос, мой путь и золото моей души / Пер. с англ. М.: Луч, 2014. 208 с.

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М.: Акад. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2015. 522 с.

Бехтерев В.М. Мозг и внушение. М.: АСТ, 2015. 320 с.